

18+

Александр Викорук

Настигнутые КОММУНИЗМОМ

Роман

Александр Викорук

Настигнутые коммунизмом. Роман

«Издательские решения»

Викорук А.

Настигнутые коммунизмом. Роман / А. Викорук —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-852813-2

Человек рождается, чтобы быть счастливым. Трудиться, строить дома, любить и быть любимым. Воспитывать детей в радости и достатке. А вместо этого, влекомые слепыми и злобными поводырями, люди сеют смерть, злобу и разруху. Россия сейчас находится в эпицентре трагедии. Об этом несколько историй в этой небольшой книге.

ISBN 978-5-44-852813-2

© Викорук А.
© Издательские решения

Настигнутые коммунизмом

Роман

Александр Викорук

© Александр Викорук, 2017

ISBN 978-5-4485-2813-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

В октябре восьмидесятого года Маркова Вадима Андреевича впервые посетила холодная жуть от, по сути, бредовой мысли, что ученые смогут создать аппараты, которые в состоянии будут продлевать до бесконечности жизнь человеческого тела. Эта мысль потрясла его на бульваре Чистых прудов, напротив выхода из дома издательства «Московский рабочий». Охваченный мерзким холодным ознобом страха, он даже стал серьезно анализировать шансы современной науки. Искусственная почка, там, стимуляция сердечной деятельности, даже искусственное сердце. Ведь это все – ерунда. Уже сделано. Еще подработают, усовершенствуют там-сям. Ну, громоздко получится для начала, плевать им. Хоть с маленький дом размером. Для одного-то человека вполне могут состряпать...

Убитый этими рассуждениями, Вадим Андреевич уже совсем бесчувственно продолжал переставлять ноги в направлении метро, не замечая, что шлепает по лужам и ботинки катастрофически намокают. Перед глазами маячило расплывшееся от нездоровья лицо с щелками глаз, потерявших человеческий разум, накрытых неукротимо разросшимися бровями. Само тело полуутонуло в аппараты, сплетение трубок, по которым медленно протекал старческий гной. Вадим Андреевич даже представил, как для телесъемок старательно, с гениальной изобретательностью вся эта техника драпируется, маскируется деревянными панелями под карельскую березу, дорогим тяжелым материалом, бархатными складками спадающим вниз. Воткнут на переднем плане какую-нибудь блестящую штучковину, да еще поставят вазу с цветами – живое совершенство рядом с живущим трупом. Труп будет шевелить синюшными губами, а звук даст тоже аппарат.

Это будет длиться вечно!.. Горькая тошнота подступила к горлу, и тут же осветила мрак мысль: да черта с два когда-нибудь машины достигнут совершенства, с которым миллиарды невидимых клеток холят и лелеют чудо жизни, чудо тепла, красоты души... Сдохнет страшный труп!

Тяжкая пелена спала с глаз, Вадим Андреевич почувствовал, как холодная чистота осеннего воздуха наполняет легкие и бодрящая свежесть зажигает кровь в щеках, тут же увидел свои заляпанные грязью мокрые ботинки. Вспомнил виноватое лицо редакторши, которая, не глядя в глаза, мямлила, что, вот, нет сейчас пока работы, разобрали рукописи. И сюда добрались, дотянулись погаными руками, душат, последнего заработка лишают, скоты... Доживу ли, хватит ли сил дотянуть до дня, когда бровастый труп уронят в червивую землю у кремлевской стены?

Вадим Андреевич глубоко вздохнул, ощутил, как тукнулось в груди сердце, прогоняя по жилам теплую кровь, и усмехнулся: надо шагать, надо искать, толкаться в двери. Хорошо еще, встретился на лестнице издательства старый знакомый по издательским коридорам, редактор занюханной заводской многотиражки, как он ее кличет «Вперед – в могилу». Знакомец, смоля неторопливо сигарету, грустно щурясь в дым, сообщил, что редактор многотиражки автодорожного института ищет сотрудника.

У входа в метро Вадим Андреевич дождался пока освободится телефонная будка, бросил в прорезь монетку и, набрав номер, услышал энергичный голос, который договаривал обрывок фразы и затем четко и бодро произнес название многотиражки.

Через полчаса Марков очутился перед огромным бастионом институтского корпуса. В груди противно похолодело от тяжести и громоздкости сталинского стиля, которым архитекторы старались пропитать каждую линию, каждое окно, слоноподобные колонны у главного входа.

Огромные, на два этажа блоки дверей нехотя расступились, и Вадим Андреевич очутился в толчее худых подвижных мальчишек и девчонок с сумками и портфелями. Пройдя по скрипящему обшарпанному паркету бесконечные коридоры, он добрался в полутемный тупик и уткнулся в дверь с почтовым ящиком, надпись на котором предлагала опускать в него материалы для газеты. Дверь скрипнула, открывая узкий темный коридор, за ним – яркое пятно окна. В комнате сидела и тюкала по клавишам пишущей машинки черноволосая девушка, в углу за обшарпанным канцелярским столом сидел пижон с худым насмешливым лицом и копной взбитых на сторону выцветших ржавых волос. Перегнувшись через стол, пижон сбросил на пол с обтертого кресла ворох бумаг. В раздавленную серую низину этого кресла и плюхнулся Вадим Андреевич, заметив, что ирония в лице пижона усилилась, просквозила улыбкой тонких губ. Наверное, смешно было пижону смотреть на старика в поношенной одежде с дряхлым портфельчиком и прочими прелестями нищеты, усталости и безнадежности.

Вадим Андреевич тихо мямлил, представляя свои литературные качества и претензии на пост литсотрудника многотиражки, а в конце упавшим голосом добавил:

– Но есть одно «но»... пятно в биографии.

– В химчистку ее! – выпалил звонко редактор, Сергей Коваль, как он представился. Машинистка сдавленно хихикнула, продолжая печатать.

– Сидел я, – подавленно добавил Марков. – Я тот самый Марков.

– Это первый секретарь союза писателей?.. Ну, конечно, как я не узнал, – Сергей широко заулыбался, распахивая руки, как для объятий. – Точно, припоминаю, вы же из Сибири?

Марков тоже улыбнулся, понимая насмешливое настроение редактора.

– Нет, я туда попал другой дорогой, – сказал Вадим Андреевич, – может, припомните громкий процесс в конце шестидесятых?

– Вадим Андреевич, припоминаю, – проговорил Коваль, улыбка с его лица исчезла, он встал, подошел к сидящему Маркову и сжал его руку. – Извините, что похохмил. Очень уж вы грустный пришли. Вам гордиться надо. Да я бы того Маркова никогда бы не взял в газету, а вас – обязательно. Что ж вы такого написали, что эта махина железная, государство, шестеренки свои ржавые раскрутила да на вас наехала? Я тут сколько лет корплю с этой газетенкой – никто и не заметил, даже не почесались... Хотя нет, был однажды всплеск. На первое апреля решил пошутить. Написал, что первого апреля наконец нашли страну дураков и поле чудес. В райком таскали. Все начальство чесоткой перестрадало. С тех пор у нас общественная редколлегия. А главным редактором дружка своего оформил с кафедры философии. Вы его еще увидите.

Он тут же велел машинистке заканчивать и отправляться домой, а когда она с озаренным радостью юным и свежим лицом вышла, походил по тесной комнатке с омраченным видом и сказал:

– Я и сам когда-то чуть не загремел на отсидку. Господа-товарищи позабавились со мной. Но, видно, ограничились легким испугом. Кстати, за Мандельштама. Коваль, сгорбившись, навалился руками на стол, исподлобья глянул мрачно на что-то одному ему доступное и, актерски играя голосом, заговорил:

Мы живем, под собой не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца, —
Там припомнят кремлевского горца...

Закончив читать, Коваль встряхнулся, сбрасывая с лица мрачную гримасу, потом озабоченно вздохнул:

– Вот незадача. Думал, возьму молодого парня, будет кого в магазин послать, – он засмеялся. – А теперь мне придется бегать. Вы посидите, я на полчаса. Придет наш философ: щеки – кровь с молоком, в прорубь зимой ныряет, на башке такая седая щетина. Узнаете. Пусть посидит. Поболтайте. А я за огненной водой сгоняю.

Оставшись один, Вадим Андреевич огляделся. Ощущение загнанности исчезло, и он с любопытством смотрел на причудливо раскрашенные яркими пятнами стены редакции, плакаты, принесенные, видимо, иностранными студентами: на них и намек не было на занудливый соцреализм – сплошной хаос полуабстрактных рож и разорванных, перекошенных иноязычных фраз. Во всем – дух беззаботной, дерзкой и смешной юности.

Когда Марков немного заскучал и все сильнее накатывало утомление, скрипнула входная дверь, в коридорчике послышались шаги, и в комнатке очутился плотный с мощной грудью мужчина в добротном темно-сиреновом костюме. Пиджак на груди вольно распахнулся, узел галстука небрежно оттянут, чтобы не давил крепкую красную шею. Увидев короткие седые волосы, заглаженные вправо, Марков догадался, что это тот самый философ, о котором говорил Сергей.

Валерий Иванович, как звали философа, поудобнее развалился в кресле у стены, с небрежным изяществом держал сигарету, попыхивая дымом, неторопливо и негромко ронял слова. Узнав, что Маркову понравился редактор, он, прищурившись, сказал одобрительно: – Сережа – оптимистическая противоположность в нашем тридевятиом царстве. – После некоторой весомой паузы продолжил: – Знаете, когда в вонючей магазинной подсобке, в бочке с огуречным рассолом вдруг солнечный луч отразится. – Он хохотнул, и вспененные завитки дыма медленно поплыли вверх.

Через час застолье тихо кипело. На столе в беспорядке теснились принесенные из буфета бутерброды и консервы. Коваль и Валерий Иванович немного нервно обсуждали последние институтские сплетни. Но тут Сергей встрепенулся, наполнил стаканы и торжественно поднялся, выпрямился и заявил:

– Конечно, вы в курсе, что наш восьмидесятый год ООН объявило годом «наступления коммунизма». Мы все – настигнутые коммунизмом. Вперед – к победе коммунизма! И вот он победил, на всех наступил. В поле брани – убиенные и искалеченные. Кому жизнь поломал, кому кости, кому мозги вышиб. – Он поднял стакан. – Так давайте встряхнемся, соберем остатки сил и мужества – нам еще далеко ковылять.

Поставив на стол пустой стакан, Валерий Иванович с одного из бутербродов взял ломтик сыра, энергично сжевал его и, подняв палец, первый прервал паузу:

– Есть одно соображение по поводу вышибленных мозгов. На минутку соберем ошметки вместе, засунем в черепушку – и задумаемся. Двадцать лет назад на полном серьезе, под фанфары было заявлено о приближении коммунизма...

– Вдалеке послышался шум поезда, – забарабанив по крышке стола, вставил с издевкой Коваль.

– Но он не приехал, – продолжил Валерий Иванович. – Из этого следует грустный вывод: наш корабль несет по воле волн... Утверждаю, энергия насилия выдохлась, верх одерживает энергия пахаря. И не впервой. Пример, татарское иго, триста лет рабства, а потом дикие полчища сгинули, а Русь осталась. Тоже результат столкновения стихий насилия и пахаря.

– А не слишком ли он труслив, твой пахарь? – спросил Коваль, с иронией усмехнувшись и подмигнув Маркову. – Не он ли придумал страшную сказку: отрубил богатырь бошки змею трехглавому, а тут на месте каждой выросло по девять голов. Это ж ужас какой! – завопил Сергей. – Девять вместо одной.

Валерий Иванович хитро прищурился, затянулся сигаретой и выдохнул клуб дыма:

– Это психологический тренинг растущей детворе, которой потом змеиные головы рубать. Там ведь дальше как? Богатырь-то снова стал головы рубать да пеньки прижигать каленым железом. – Валерий Иванович загоготал. – Так что, мало гаду сказать, что он подонок, надо ему еще в глаза посмотреть, до нутра его поганого пронять. Надо пустить в ход некое чудо. – Валерий Иванович приподнял руку с сигаретой. – Он не потому подонок, что в нем подлость живет, а потому, что в нем добро в анабиозе. Не знает он цены собственной бессмертной душе. А вот включи эту хитрую машинку – и, глядишь, станет человеком или сгинет.

– А что, один мой приятель, стукач мелкий, сгинул.

– Стукачи – это цепные псы насилия, – изрек Валерий Иванович.

– Ну, это была цепная шавка... Вадиму Андреевичу уже рассказывал про мои армейские похождения, – пояснил Коваль. – И верно, смотрел ему в глаза. После бесед с гэбэшниками вернулся в часть, и – ведь сразу сообразил, что лучший друг накакал, – его за шкуру. Очень хотелось его морду разглядеть. – Коваль усмехнулся. – Может, логово подлости хотел рассмотреть или душу в анабиозе? Глазки такие круглые, свиные, белок с прожилками, радужка с темным ободком, рыхлая синька, и зрачок, как очко в сортире. Показалось даже – сжался зрачок... – Коваль замер, вспоминая, потом вздохнул легко: – И точно, через несколько дней сгинул, перевели в другую часть. Не знаю уж, пробудилось ли в нем что.

Молчавший до этого Марков встрепенулся и проговорил оживленно:

– Мне бы в глаза посмотреть своему другу-стукачу... Да не дотянуться до Парижа.

– Вот, Валерий Иванович, – сказал Коваль, кивая на Маркова, – Вадим Андреевич не только настигнутый коммунизмом, по нему еще и социализм проехал, как танк. Надо бы в советской конституции гарантировать не только свободу слова, но и право глянуть в глаза своему иуде.

– Мне сегодня утром тоже хотелось в Париж, – мечтательно сказал Валерий Иванович.

Коваль вопросительно глянул на него и сказал мрачно:

– Вы что же, тоже видели в парткоме объявление о тургруппе во Францию?

– Намедни.

Коваль встал, оперся кулаками в стол, важно набычился:

– Нет такой задачи, которую бы не решили коммунисты.

– Кто же с моей анкетой туда пустит меня? – жалко проговорил Марков.

– Вы же сочинитель, – повысив голос, торжественно заявил Коваль, – мы – шелкоперы! Мы такую биографию изобразим. Валерий Иванович, возьмите бумагу... Ну, про войну, Вадим Андреевич, сами запишете. Так... воевал, орденосец, учился. С шестьдесят такого-то года в спецкомандировке по заданию правительства. Сколько, семь лет, наградили вас? Так, значит, четыре года спецкомандировка. А три тогда, Валерий Иванович, запишете, на излечении после ранения при выполнении правительственного задания. Отказались от инвалидности. Трудился на Севере. Потом внештатным литсотрудником в различных газетах.

– А как же документы? – спросил оторопело Марков.

– А кто их будет смотреть? Кому нужно копаться в позорных бумажках, когда перед нами герой всей страны... Так, с отделом кадров я улажу, там и без трудовой книжки обойдутся. У меня там родная тетка работает. А к секретарю парткома я с живцом пойду. Есть у меня практиканточка с факультета журналистики. О-о! – мечтательно застонал Коваль, весь озаренный огнем и вдохновением. Афродита с пятым номер бюста. Как раз во вкусе нашего секретаря. На эту плотву его и возьму.

Через месяц Марков почти забыл разговор о поездке. Вернее, мало надеясь на удачный исход, отодвинул мысли о ней поглубже в память, чтобы зря не теребить душу. Но оказалось, что в недрах бюрократического организма происходило невнятное ленивое движение. Где-то в декабре его вызвали на собеседование. С некоторой внутренней дрожью и тоской он сидел за столом, старался распрямить худые плечи и слабую грудь, когда зачитывали его подвиги на фронте. Молча вспоминал при этом грязь, вши и дикое бешенство часто пустого брюха. И еще стойкое отвращение к любой толкучке, толпе: многие годы после войны не покидало желание рассредоточиться, уединиться, спрятаться, потому что при прямом попадании снаряда или мины в толпу остатки слишком похожи были на фарш.

Каверзных вопросов присутствующие не задавали. Только один студент из активистов спросил о партийном руководстве демократического Йемена. Марков сослался на фронтовую контузию, которая сильно повлияла на память и добавил, что очень занят сбором материалов для книги о советских полководцах.

Перед самым Новым годом в редакции мелькнула девица, которая по внешним данным напомнила Маркову слова Ковалья о практикантке с журфака. Уж очень она была сочная и смешливая. Она небрежно роняла пепел сигареты мимо пепельницы на стол Сергея, часто откидывалась на спинку кресла, хохотала над его шутками, и прикусывала острыми белыми зубками алые губы, когда Коваль с намеком заговорщицки мигал Вадиму Андреевичу. Марков не стал медлить и быстро откланялся.

Еще раз девица появилась в январе, а через неделю, перед самыми студенческими каникулами Коваль потащил Вадима Андреевича в партком на, как он сказал, последний и решительный. При этом велел на собеседовании со всем соглашаться, на вопросы отвечать бодро и коротко и побольше упираться на последние решения партии.

В парткоме во главе стола сидел в строгом добротном костюме полнеющий мужичок с простецким круглым лицом, заглаженными набок легкими светлыми волосами. Светлые глаза смотрели строго и совершенно неподвижно, голос звучал едва слышно, но непоколебимо. Рядом с секретарем сидел лысый коротышка с густыми черными бровями и с обожанием глядел на шефа, словно обнимая того ласковым взглядом.

В почтительной тишине секретарь медленно выговаривал слово за словом, как будто пристраивал букву к букве, неспешно внимал ответам и держал весомую паузу прежде, чем заговорить.

В конце разговора взгляд его потеплел и он сказал:

– Это хорошо, что ваша внучка по вашим стопам пошла, на журналиста учится. Как ее успехи на сессии?

Марков не мог понять, откуда у него взялась внучка, но бодро с согласием кивнул и четко произнес:

– Отлично, одна только четверка.

Секретарь улыбнулся, и тут его полуприкрытые глаза полыхнули таким огнем, что Марков почувствовал, как к щекам прихлынул жар. Впрочем, никто не заметил ничего. Только когда вышли в коридор, Коваль покотился со смеху, затем с извинениями объяснил, что секретарю представил студентку с журфака внучатой племянницей Маркова.

В феврале окончательно и бесповоротно решилось, что поездка состоится. И тут на Вадима Андреевича нахлынула беспросветная тоска. Разбираться в причинах было сложно и жутковато. Томило, что в любой момент выплывет какой-нибудь подвох, и все оборвется тошнотворной беседой с тупыми мордами из гэбэ. Мучили и вдруг обьявившиеся сомнения в предательстве Сашки Селина. Доказательств-то никаких. Эмоции, интуиция, намеки... Что если все эти намеки – лишь подлая игра Есипова? И что, кроме мычания и надуманных обвинений, все – детский жалкий лепет?

Последние дни Марков ходил как в воду опущенный, появилась даже неприязнь к Сергею Ковалю, который, видно было, весь оказался захвачен интригой вокруг поездки. Энергия переполняла Ковалю, чувствуя смятение Вадима Андреевича, он старался шутить, намекал на ночную жизнь Парижа, рассказывал анекдоты, как некоторые жутко передовые комсомольцы в заграничных поездках сигали с борта пароходов, чтобы выйти на капиталистический берег и навсегда расстаться с любимым социализмом. А в последний день, когда стояли в метро, сказал:

– Надо как в глубокий омут – головой вперед. Мне, кстати, понятно, почему человек головой вперед рождается: потому как недоглядишь сразу – оттяпать чего-нибудь могут запросто. Потом доказывай, что было.

В день отъезда Вадим Андреевич отбросил все сомнения, как отрубил, и сразу почувствовал легкость и свободу. Его даже не смутило, что в аэропорту в толпе мелькнул чей-то до боли неприятный знакомый силуэт. Все было отмечено.

Бесчувственно, как в гипнозе, Марков очутился на летном поле аэродрома, поднимался по трапу в самолет, разглядывал номера на креслах, смотрел в иллюминатор в ожидании взлета.

Сквозь оцепенение проникло ощущение надвигающейся тяжести, шум сопения, и слева на руку и плечо навалилось массивное тело.

– Миль пардон, как говорят в Париже, – слыло прозвучало рядом, и забубльнул в слюне противный смешок. – Ба-а, вот так встреча! Каким чудом?

Вадим Андреевич высвободил из-под тяжести локоть и узрел прямо перед собой мерзкое лицо Есипова. Тяжелые покрасневшие веки, воспаленные мутно-желтые белки. Губы раздвинули щеки, открыв влажные зубы, пухлый язык в тесной пещере рта.

– Это удача. Приветствую и одобряю, – забубнил снова Есипов. – Благами цивилизации надо пользоваться – и плевать на все остальное. Рад, что наконец поняли. Я тоже многое понял, – глаза Есипова мечтательно закатились. – Был на мне презираемый и гонимый грешок – сочинительство... хо-хо! Однажды сказал себе: погоди, дружок. Может, это главное... сермяжное? Вот, в литературный институт поступил, на заочный, учусь, духовностью насыщаюсь. Знаете, проникся, понял вашего брата бумагомарателя, теперь и сам такой. – Есипов задумчиво затих, потом заговорил неторопливо, смакуя слова. – Подвернется на глаза какой-нибудь аппетитный подлец или бабенка-стервозинка, ать их – и на бумажку. Нравится тебе – ему усы с рыжиной попышнее, не угодила баба – ты ей нос пуговкой, ха-ха... Не зря говорят: такой-то – создатель эпопеи... о-о! Создатель! Вы-то пописываете?

– Бросил, – буркнул Марков.

– Зря, – промычал Есипов и с сочувствием покачал головой. – А может, посмотрите мир, капитализм проклятый, всколыхнется внутри, а потом дрогнет рука, перо, бумага?... И такую отповедь сочините миру наживы, насилия, что самые стойкие неприятели писателей воскликнут: ай да, Вадим Андреевич, ай да, сукин сын!

– Вижу, вы уже на след Александра Сергеевича напали, – сказал хмуро Марков. – Ему-то уж ничего не пришьете.

– Ах, Вадим Андреевич, не любите вы меня, злопамятный вы, – физиономия Есипова печально скисла. – Батя-то мой другом вам был.

– А вы помните отца? – спросил Марков.

– А как же! – воскликнул Есипов. – Папашка, дорогой, руки такие жилистые, хватистые. Крикун, правду любил.

– Да, крикун, – повторил с болью Марков, – подлецов страшно не любил.

Марков вспомнил тесную, захлавленную старой мебелью комнатку в коммуналке, худенькую жену друга Валу, шустрого пацанчика Валерку, копошащегося с переломанными игрушками. Не раз, когда проймет хмель от выпитой водки, словно подбитый раскаленным осколком, вскидывался дружок да вскрикивал со смертной тоской в голосе: «Что же, Вадим,

за родину, за победу дружки наши по всей земле гниют, мы – калеки... Нашу победу гнида украла, кровью нашей раздулась! До блевотины!»

Валя смертельно бледнела, полуборморочно сжималась, у самого Маркова замирало от холода нутро. Только Валерка, привлеченный криком отца, оглядывался, смеялся, старался повторить вопль отца. Дальше следовала мучительная пауза, затуманенный взор друга плыл в темном жутком омуте потаенных мыслей.

– Как вы не похожи на своего отца, – удивленно и брезгливо проговорил Марков.

– Точно, телеса нагулял, – усмехнулся Есипов, – а папашка на глиста был похож, зашибал сильно, этак... – крякнул Валерка изумленно.

– Совесть его мучила, вот как это называется.

– О-хо-хо, – с гримасой презрения выдавил смешок Есипов.

– Он был мученик, – проговорил твердо Вадим Андреевич. – Мученик нашей жизни поганой, нашего самоистребления...

– Ну, вы уж нагородили, – снисходительно усмехнулся Есипов, – скажите еще: Христос.

– А что? Может, он и жил распятым. Мы все так живем. Одни только этого не видят, привыкли, другие и тут приспособились, а кто и выгоду нашел. – Вадим Андреевич ехидно засмеялся. – В услужении подрабатывают за хорошую плату: кому крест повыше, кому пивка подать, а кого плеточкой, если вопит слабо. Помнится, один солдат копьем Христа добил, решил избавиться от страданий.

– А может, в казарму захотел, пожрать да к бабе, – заурчал довольно Есипов. – Хотите, скажу, как на самом деле было? Ведь вранья за две тысячи лет столько набрехали... Открою вам глаза.

Марков ничего не ответил, продолжал смотреть поверх затылков передних пассажиров, да краем уха отметил, что аэродромные огни двинулись и помчались назад. Рев двигателей усилился, корпус самолета лихорадочно завибрировал.

– Взлетаем, – пробормотал Есипов. – Люблю оторваться от родной земли. Мы еще вернемся. Прощай, любимая и родная страна советов... Так вот, дело было так. Иуда, мало ему с властей денег за информацию, он решил еще и на после капиталец сколотить. Быдло ведь чудеса любит. Мужик на небо вознесся – это чудо, а потому ученикам его – почет и уважение. Рассказы очевидцев с разинутыми ртами будут слушать. Тут тебе и угощение, и презент. Так он сначала Христа продал с потрохами, а потом ночью выкрал труп да неподалеку закопал. А утром вместе со всеми бегал и кричал: «Чудо, чудо! На небо вознесся!» Мы, кстати, тоже возносимся в небо. Люблю этот момент, – Есипов прикрыл глаза и довольно почмокал толстыми губами.

– Чепуха, – мрачно заявил Вадим Андреевич. – Конечно, с властей деньги за донос можно получить. Любая власть хорошо платит стукачам и подонкам, а вот трепачам, которые простолоудинам морочат мозги баснями, – смачно проговорил Марков, – головы рубят. Особенно тем, кто болтает, что чудеса и благодеяния исходят не от властей, а от бродяги-еретика. Так что, опасный это путь.

– Возможно, – усмехнулся Есипов и некоторое время довольно пыхтел, изучая потолок салона.

– А вот такой вариант, вполне достоверный, – заговорил он снова. – Да, пожалуй, Иуда – мужик деловой, ему верняк нужен, а не по ночам трупы таскать. А вот другие ученички. Вполне могли выкрасть тело и закопать втихаря. Уж они-то басен насочиняли, до сих пор в ходу.

– Пусть и так, – согласился Марков. – Но ведь они преодолели страх, рискнули животами своими, а потом до конца своему учителю служили. Такое простой похабщиной не объяснишь. К тому же учтите: на эту тему написаны горы литературы, исследований, к сожалению, недоступные нам, по нашему пролетарскому происхождению.

– Ну, мы не такие темные, – небрежно сказал Есипов. – Почитывали... например, а такую версию. Будто дали Христу в последний момент не уксус, а наркотик. Потом его за труп представили публике. А он через некоторое время очухался – и отбыл восвояси. И жил припеваючи в отдалении, но уже не лез на рожон. Вот как вы, например, – Есипов довольно хихикнул. – О! – всколыхнулся он. – Вот кое-что получше. Есть у дураков такое упрямство, что – хоть смерть – а свое доказать, святостью просиять. Ну, Иисус и подговорил Иуду выдать его властям, а потом тело выкрасть, закопать. Все по сценарию вознесения на небо.

– Да что вам это вознесение далось, – презрительно сказал Вадим Андреевич. – Сами посудите, зачем на небо кости, мясо тащить? Закопали их, закопали. Можете быть спокойны. Кто и как, не все ли равно? Другое здесь привлекает. – Марков помолчал. – Нет в природе человека, его мыслях ничего, кроме сущего. Сказана самая странная чудь, выдумка, а и она, значит, имеет отношение к сущему. Даже змей огнедышащий, трехголовый. Может, в реальности он всего-навсего крокодил, а остальное домысел человека. – Марков вздохнул. – И совесть есть, только вас она обошла. Но это уже ваши проблемы. Вы ей не нужны. И вознесение было, только не костей и мяса, а что было – вам недоступно.

– Почему же? – удивился Есипов. – Как это без меня?

– Без совести-то не горюете? Вдруг это такая же никчемная для вас вещь?

– А и верно, что я хлопочу, – усмехнувшись, бросил Есипов и заерзал на кресле, устраиваясь поудобнее, отчего еще больше навалился локтем на Вадима Андреевича. Потом он откинул голову на спинку.

К этому времени самолет набрал высоту, выровнялся и, монотонно гудя, нацелился в неведомую даль, где за тьмой ночи скрывались другие города, люди, чужие миры. А внизу, в черном круге окна, ползали редкие огоньки подмосковной России, там царила ночь, одиночество, заброшенность и тоска.

– А что вы знаете, как умер ваш отец? – спросил Вадим Андреевич.

– Чего там знать, – буркнул Есипов, прикрывая глаза. – С перепоя, – он облегченно вздохнул и стал мерно посапывать.

Вадим Андреевич ничего не сказал, тоже прикрыл глаза, но спать не было возможности, потому что теребила старая догадка, что умер друг не случайно, а вполне намеренно. Не с перепоя, а как бы выстрелил последним патроном в висок, когда окружен беспощадным врагом и отбиваться больше нечем. И вот она – последняя пуля, как избавление от мук и позора.

Мы в этом позоре дышим и живем, подумал Вадим Андреевич.

Впервые догадки о добровольном уходе из жизни друга Дмитрия Есипова появились через несколько дней после его смерти. Когда схлынула тягостная боль, тоска, закончилась череда хлопот с похоронами, встреч, разговоров. В опустошенной голове вяло перетекали воспоминания о последних встречах с Митей. Обрывки фраз, знакомых энергичных жестов, лихорадочно сверкающие глаза с воспаленной краснотой белков, бисеринки пота на горячей коже лба. Этот разговор был где-то за две-три недели до смерти. Дмитрий был необычайно весел. Посреди пирушки за скудным столом с картошкой, квашеной капустой он вдруг возбужденно с хитрой улыбкой проговорил:

– Поверь мне, медику, есть такой способ смертяшки, когда никто не сообразит, что парень наложил на себя руки.

В этот момент они сидели вдвоем, напротив друг друга. Мальчишка Есипова еще не вернулся с улицы, а жена вышла на кухню с грязными тарелками. Дмитрий перечислил какие-то лекарства.

– Главное – водки надо принять, – засмеялся он. – Представляешь, сначала наркоз, звуки фанфар, потом несколько таблеток... И оттуда уже никто не достанет. И никаких разговоров.

Он повторил последнюю фразу с каким-то облегчением.

Едва в памяти всплыли эти слова и хитрый довольный вид Дмитрия, как тут же Вадима Андреевича обожгла догадка о самоубийстве друга. Затем память-копуша вытолкнула на поверхность еще одну фразу того разговора. Неожиданное возбуждение Дмитрия погасло, и он сказал тихо: «Мерзко живем, достойнее не жить». Он обречено, сбивчиво стал объяснять, что одни его склоняют к соучастию в мерзости, а другие обвиняют в причастности к этим пакостям. Как-то он уже говорил Маркову, что в их психиатрической клинике по указке людей из цэка творятся темные дела, но Вадим Андреевич побоялся выпытывать подробности. Это было бы все равно, что тревожить руками открытую рану. «Достойнее не жить», – не договорив, прервал признания Дмитрий.

Так, нанизывая одно воспоминание на другое, Вадим Андреевич все больше убеждался в своих подозрениях о причине смерти друга, хотя сомнения все-таки оставались. А после ареста, во время следствия, он безоговорочно поверил, что Дмитрий сознательно покончил с собой. Так было легче переносить допросы, ложь нагромождаемую следователями, сомнения в верности товарищей. Следователи смеялись над ним, говорили ему, что только он один упрямится, все уже признались, а Александр Матвеевич Селин, его подельник, уже пишет покаянные письма. В такие моменты Вадим Андреевич закрывал глаза и повторял слова Мити: «Мерзко живем, достойнее не жить».

На одном из допросов Вадим Андреевич не выдержал и сказал следователю:

– Мой друг-психиатр поставил бы вам диагноз: атрофия совести.

Следователь сначала опешил, но ничего не понял и продолжал, глядя оловянными глазами, долдонить тупые вопросы.

Это была любимая тема Мити Есипова. Он шутливо говорил, что втайне пишет диссертацию на тему: «Общество субъектов с ампутированной совестью». В ней, говорил он, уже намертво доказана материальность явления совести, рассмотрены различные типы людей: с полным отсутствием совести, с зародышем, с совестью в процессе атрофирования и людей с полноценной совестью. «Последние обречены на вымирание, – смеясь, добавлял Дмитрий. – Хочу предложить начальству создать группу по хирургу-психиатрическому поиску органа – сосуда совести».

Когда Вадим Андреевич вернулся из заключения, вдова Дмитрия передала ему толстую папку с разными бумагами мужа. На папке была надпись «Заветная». Среди бумаг Вадим Андреевич нашел записку адресованную Маркову, но почему-то Вадим Андреевич ее никогда не видел. Дмитрий написал: «Дорогой Вадим! Главный вопрос жизни человека состоит в решении спора между инстинктом самосохранения и органа совести. Первый требует сохранения жизни любой ценой, даже ценой подлости, предательства, убийства. Второй готов идти до самоубийства, если невозможна нормальная жизнь совести».

Ниже было приписано другими чернилами, мелкими буквами, но тем же корявым лекарским почерком: «Я нашел средство для страждущей совести. Всего 2—3 таблетки. Прощай». Дата, поставленная под последней записью, совпадала с днем смерти Дмитрия.

Тогда у Вадима Андреевича исчезли последние сомнения в добровольности ухода из жизни Дмитрия. По обрывкам воспоминаний, по запискам в «Заветной» папке Марков даже восстановил события последних дней друга. В больнице он устроил грандиозный скандал, как он выразился, сказал заведующему клиникой все, что он думал о советской психиатрии вообще и о заведующем в частности. Распродал большую часть книг из личной библиотеки, которую собирал с детства, начиная с затрепанного томика «Робинзона Крузо». Купил холодильник. Марков помнил, какой был устроен по этому поводу семейный праздник. Дмитрий свой день рождения так не отмечал, как водружение в их комнатенку белого сверкающего чуда, а его жена была счастлива, наверное, не менее, чем в день свадьбы. Сыну Валерке купил яркий резиновый мяч, а вручил его на том же празднике со словами: «Гоняй, Валька, мяч, но главное для тебя, запомни, вот это, – он указал на полку, на которой стояло с десятков отобранных

книг. – Они должны стать твоими друзьями». Среди книг стоял и «Робинзон Крузо». Опившийся газировкой «Ситро» и объевшийся пирожными, Валерка с недоумением водил глазами по темным корешкам книг – некоторые из них Дмитрий своими руками склеил, – но так ничего и не вымолвил.

Была еще в папке записка без даты. Иногда – очень редко – с томительными содроганиями души Вадим Андреевич перечитывал эту записку: «Друзья ушли. Чемоданы отброшены. Весело, легко. Наверное, это лучший день на Земле. В окне – сентябрь этого года. Эти ржавые листья, два этих голубя на жести крыши этого дома напротив. Этот лист с желтыми и зелеными пятнами за стеклом. На подоконнике этот снулый прозрачный мотылек еле двигает паутинками-усиками. Это моя душа растворяется в золоте солнца и в этой синеве неба, тянется вослед этой невесомой снежно-холодной туче...»

Жена Дмитрия рассказала, что в тот день, войдя в комнату, она увидела мужа за столом. Уронив голову на неловко подвернутые руки, он как бы спал. Окно перед ним было распахнуто настежь. По подоконнику ходили голуби, которые с громким треском взмыли в небо, и ветер трепал волосы Дмитрия. Сначала она подумала, что муж немного выпил как обычно и задремал, хотела отругать его за то, что выстудил комнату. Закрывает торопливо окно, в которое вместе с солнцем врывается поток студеного воздуха из глубокого ледяного неба. Потом коснулась рукой лба Дмитрия и завопила от холода и ужаса...

В Париже моросил теплый дождь. Пассажиры, выйдя из самолета, весело и возбужденно галдели. Марков все оглядывался: не появится ли Валерка Есипов? Но того, видно, сморил богатырский сон. Вадим Андреевич после посадки пытался растолкать его, но потом, чуть ли не карабаясь по тучным телесам Есипова, перелез через него, и одним из последних покинул салон самолета, оставив спящего Валерку на попечение стюардесс.

Вадим Андреевич с наслаждением вдыхал ароматный воздух. Ему и впрямь почудилось, что только так пахнет воздух свободы. Хотя была это всего-навсего парижская весна. Из тьмы порывами налетал теплый влажный ветер, принося парной запах оттаявшей травы и набухших соком почек.

На третий день Вадим Андреевич, сославшись на нездоровье, на старые раны, остался в гостинице. Руководитель группы долго не хотел оставлять его, а трущаяся вокруг поношенная пигалица, похожая на профессиональную стукачку, презрительно посматривала на него с хорошо заметной неприязнью. Но Маркову удалось выцганить самоволку, и скоро тургруппа умчалась на очередную экскурсию, а Вадим Андреевич, выждав полчаса, вышел из гостиницы.

На соседней улице Марков набрал в автомате номер, достать который стоило больших трудов. Целый месяц ходил в иностранную библиотеку, рылся в справочниках, пока наконец не выкопал справочные данные по парижским учебным заведениям, где и натолкнулся на фамилию профессора Селина, слависта и прочее. А к нему и телефон. По телефону зазвучал приятный женский голосок. На школьном английском Вадим Андреевич объяснил, что ему нужен месье Селин Александр, и без всяких вопросов, ему выдали домашний телефон. Он снова набрал номер. На этот раз в трубке послышался женский смех. Вадим Андреевич стал говорить, но женский смех продолжался, затем смех, затихая, уплыл в глубь, и в трубке забубнил знакомый хриплый бас, коверкающий чужеродные французские звуки. От этого баса перехватило сердце и больно обожгло все давно забытое.

– Шурка?.. – едва выговорил Марков.

Наступила пауза, Марков физически ощутил, как и по ту сторону беззвучно разряжается, полыхает и вопит сонмище страшных, жгучих воспоминаний.

– Ты приехал?

– С оказией туристом.

– Надолго?

– Неделю дали.

- Ах, как я рад, – неуверенно и мрачно прохрипел бас.
- Надо бы встретиться.
- Конечно, конечно, – замямлил хрипло голос.
- Давай прямо сейчас, – подхватил Вадим Андреевич.
- Ах, дела, понимаешь...
- Что ж ты, раз в двадцать лет дела не отложишь?
- Почему бы и нет? Конечно.

Вадим Андреевич медленно брел по улице, на которой находилась назначенная для встречи кафешка. Ждать на месте было крайне неудобно: уж очень неловко было торчать столбом возле витрин, ослепительно чистых, озаренных ярким светом. Хотя Марков приоделся в новый плащ, который взял на время у московского приятеля, все равно вид его выдавал происхождение из убогой страны. К тому же не стриженная борода серо-седая, клоками даже в Москве вызывала подозрение у скучающих милиционеров.

Назначенное время уже прошло, и Вадим Андреевич, прохаживаясь, завернул за угол, бесцельно шаря глазами по витринам. Остановился у витрины часового магазинчика, усыпанной облаком бело-розовых искр – сияющих под лампами корпусов часов.

Позади послышался шум тормозящей машины, Вадим Андреевич оглянулся. Из красной лаково блестящей коробочки машины выскочила симпатичная фигуристая девица, залопотала по-французски что-то веселое, потом снова окунулась в машину, обхватила ладонями плешивую бородатую голову водителя, со смехом чмокнула его несколько раз, снова выпорхнула наружу. Машина отъехала, завернула за угол, девица перебежала улицу. Вадим Андреевич тоже двинулся вслед машине к месту встречи.

У кафешки стояла та самая красная машина. Когда Вадим Андреевич приблизился, из нее вылез упитанный старикан в твидовом пиджаке, изрядной плешью на голове и распущенной светло-рыжей бороде, из-под которой виднелся цветастый шейный платок. Старикан направился в сторону Маркова, Вадим Андреевич разглядел рубаху с невысказанно ярким украинским узором, обритые щеки и нежно белую кожу на щеках, тронутую красными прожилками. Глаза только были с нездешней тревогой, чуть ли не паникой. Тут Вадим Андреевич узнал Селина.

Вадим Андреевич засмеялся. Он по-разному представлял свои чувства на этой встрече: приступ злобы или крепкое объятие, в котором и прощение, и тоска по молодости. Но сейчас его разбирал смех. Смеялся он негромко, снисходительно дробным смешком. Лишь в нем смогли соединиться фигура парижского профессора, бредовое следствие, суд над самонадеянными мальчишками-писателями, мерзостная ахинея заключения и полулегальная операция турпоездки в Париж. Зачем? Кому в голову приходит ладить подобные нелепости?

Селин вначале опешил, но потом и сам стал подхихикивать.

– В лагерном ватнике ты иначе выглядел, – сказал Вадим Андреевич.

– Приходится соответствовать. Таких специалистов здесь навалом. Вот, понимаешь... – Селин развел руками. – Нечто творческое с русским колоритом. – Он огладил бороду пятерней.

Селин пригласил Вадима Андреевича в машину и сначала повез по улицам города, показывая достопримечательности. Но Вадим Андреевич упорно молчал, и скоро Селин заскучал и предложил заехать на квартиру, выпить по случаю встречи.

Машина недолго попетляла по улочкам, а затем они остановились у невзрачного серого дома. Едва они вышли из машины, как на них неизвестно откуда с воплями накинулась та девица, которую Марков уже видел. Но, подскочив к ним, она рассмеялась сначала разочарованно, потом с прежней беспечностью. Она залопотала оживленно, что-то объясняя Селину, ласкаясь к нему. Потом, игриво глянув на Маркова, стала нечто восклицать и наконец выговорила с трудом:

– Мальчиша, о-ля-ля!

Но Селин сердито прикрикнул на нее, и она, расцеловав его, исчезла.

Вдвоем они поднялись молча в комнатенку на третьем этаже. Главное место в комнате занимала кровать и вещи, призванные ублажать женское сердце.

Оглядевшись, Марков с прежним смешком спросил:

– А жена об этом знает?

– Догадывается, – уныло произнес Селин. – Но – Париж, здесь любовница положена по штату. Дом, машина, любовница... Приходится мириться.

– Давай выпьем, – сказал Селин и достал бутылку водки. – Французы в основном вина пьют, а для своих...

Они выпили, а затем молчание слишком затянулось.

Вадим Андреевич снова захихикал:

– Хотел в глаза тебе заглянуть.

Селин усмехнулся:

– Что ж, гляди, – согласился он уныло. – Занятие, должен тебе сказать, препаскудное.

Каждое утро... глянешь в зеркало – плюнуть хочется.

Пожалуй, только глаза Селина выдавали то, что с тех пор прошло почти двадцать лет. Зрачки поблекли, белки напитались мутной тяжелой водой, а веки отяжелели от дряблой сетки морщинок. Глаза неприятно выделялись на его парфюмерно свежем, словно умело нарисованном, лице.

– А ведь это я мог быть на твоём месте, – сказал задумчиво Марков, – а ты там, на помойке. Известный тебе ублюдок так и говорил мне: сгинешь на помойке. Наверное, и тебе говорил? Или ты сразу согласился?

Селин промолчал, в глазах его появилась тревога и озабоченность, зрачки расширились, и в них всколыхнулась волна ужаса. Вадим Андреевич ощутил прилив страха.

– Двоих бы, конечно, не выпустили, – задумчиво сказал Марков. – Устроили бы что-то вроде соцсоревнования. Как думаешь, в каком виде спорта?.. Наверное, в подлости. – Вадим Андреевич рассмеялся. – Представляешь? Два интеллектуала, писателя, стараются, слюну собирают, чтобы посмачнее плюнуть в ближнего, память напрягают, чтобы гадость похлеще про друзей вспомнить да благодетелей порадовать. А самый способный – присочинил бы, наврал. Ведь сочинители же! «Над вымыслом слезами обольюсь», – продекламировал Вадим Андреевич. – Ты же говорил мне, что я талантливее тебя? Смог бы ублажить начальство. Вполне!

Вадим Андреевич встал, сделал пару шагов по комнате, разглядывая обстановку, картинку на стенах, глянул в окно, раздвинув легкую кисею занавесок.

– Это все могло быть моим, – сказал он. – Машина, квартира, профессорская должность, девчонка эта.

– Хочешь, я заплачу тебе?

– А сколько ты мне заплатишь? – поинтересовался Вадим Андреевич.

– Ну, тысячу франков...

– Знаешь, у нас в группе почти все специалисты в ценах. На кассетный магнитофончик хватит. Ладненько.

– Ну, давай – пять тысяч.

– Уже лучше, на хороший цветной телевизор. Возьму в охапку и попру в Москву, в свою конуру. Буду в цвете смотреть про успешное строительство коммунизма на помойке. Чтобы не вспоминать, что живу впроголодь, жена от переживаний заболела и умерла, что детей нет... А сколько эта кроватка стоит? – Вадим Андреевич кивнул на двуспальную кровать с высокой спинкой, с накинутым небрежно ворсистым покрывалом.

– За четыре тысячи, – буркнул Селин.

– Неплохо. Значит, за покойницу жену, за не родившихся детей. Ты хоть понимаешь, что ты их сожрал?

– Столько я не могу тебе заплатить.

– А если я найму корешей. Дом заложишь, от квартирки откажешься, от любовницы. Они ведь как бы у меня украдены, машину продашь. Неплохо?

– Прилично, – согласился Селин. – Только ты ведь не возьмешь... А если возьмешь, потом еще захочешь. Это затягивает.

– Что это?

– Франки, доллары... и чем больше, тем сильнее тянет.

– Они не только тянут, они и жгут.

– Притерпелся.

– У меня друг был, – сказал Вадим Андреевич, – с собой покончил. Да ты его знаешь, Есипов. Его насквозь прожгло... А если бы я на себя руки наложил? Обстановочку ведь создали вполне благоприятную. Как тогда?

– Он же умер, спился? – удивился Селин.

– Деликатен слишком оказался, – хмуро сказал Вадим Андреевич. – Способ такой выдумал, чтобы от естественной смерти не отличить. Наверное, не хотел родственников пугать. Хотя... он же этим и палачей своих от угрызений совести избавил. Во как! Разница есть? Одно дело я, допустим, тихо загнулся на подушке. Ну, и концы в воду. Другой оборот, если затянулся бы в петле. Тут уж на полразговорца хватило бы. По старой памяти, может, и пресса западная помянула бы. Мол, давняя жертва тоталитаризма повесилась, не выдержав тягот преследований. А ты бы, лежа в этой кроватке, в газетке прочитал, заскрежетало бы, аппетит на завтрак испортил бы тебе.

Селин с унынием вздохнул.

– Кстати, – вспомнил Вадим Андреевич, – впрочем, почему кстати? Сынок Есипова тут, ты его тоже знаешь, – язвительно искривил рот Вадим Андреевич.

– Знаю, звонил, – произнес Селин. – В займы просил.

– И дал?

– Дал.

– Сколько?

– Десять тысяч франков.

– Ого-о!.. А ведь не отдаст, скотина, – захохотал Марков.

– Не отдаст, – спокойно согласился Селин.

– Ну, тараканы!.. Получается, что-то вроде дани собирает?

– Получается... не он один.

– Димка Есипов написал в записках своих, – вспомнил Вадим Андреевич, – что есть в человеке орган – совесть. Не у всех. Она может человека до самоубийства довести, если жизнь не совпадает с совестью. А мы живем только потому, что у нас этот орган атрофировался.

– Ты просто голоден, – Селин поднял голову и мрачно посмотрел на Вадима Андреевича. – Накормили бы тебя, пригрели, рюмашку водочки поставили бы – и нет твоей суеты. В гэбэ все-таки дураки сидят. Подкинули бы тебе работенки, ты бы насытился – и конец разговорам... Здесь я это понял. – Селин откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. – Жратвы полно, по видюшнику киношку любую, баба нужна – пожалте. И никаких вопросов и криков. Прислушаешься: только чавканье да чмокание. За деньги и ради денег можно все.

– И мир состоит только из прохиндеев, более или менее талантливых, – с иронией заметил Вадим Андреевич. – А идеал для подражания – Валерка Есипов.

– Поди да убедись, – пожал плечами Селин.

На минуту воцарилась тишина. Вадим Андреевич снова сделал несколько шагов по комнате, нечаянно зацепился ногой за легкий деревянный стул с желтым сетчатым сидением. Стул с грохотом упал.

– Пятьсот франков, – проговорил Селин.

Вадим Андреевич наклонился, поднял стул и поставил в сторону и, отдышавшись, сказал:

– У меня последнее время ощущение, что скоро умру. Иногда проснусь – и накатывает холод, пелена тьмы, мысль, что умру. На фронте такое было. Ты должен знать. Вот и у меня... Поэтому и ухватился за идею приехать сюда. Часто думал об этом. Тянуло. А тут взялись организовать. Почему-то должен был увидеть тебя. Не знаешь, почему? – спросил Вадим Андреевич и увидел, что Селин побледнел, лицо его стало неприятно серое. – Все-таки судьба свела нас не ради пустяка. С той поры вон как вас перекутило... Да, вспомнил, – оживился Вадим Андреевич. – Ублюдок этот, Валерка, мне свои версии смерти Христа рассказывал. Что расчет все. Или Христос, или его ученики что-то вроде спектакля специально придумали да хотели пожить на нем. В общем, чушь в стиле стукача. Так вот, уверен, что Христос чувствовал и предвидел смерть и знал, что это очень важно. Я тоже чувствую. Конечно, не сравниваю себя с ним. Но, может, так наступает у каждого, словно предупреждение, напоминание. О чем?.. Надо понять.

Вадим Андреевич остановился у окна. В разрыве облаков мелькало весеннее голубое небо, казалось, ветер нес тепло, яркий свет жаркого солнца.

– В общем, ладно. Свиделись и все. Пойду я.

Вадим Андреевич отказался от предложения Селина подвезти его к гостинице. Они сухо попрощались. В одиночестве Вадим Андреевич спустился вниз и вышел на улицу.

Довольно долго он брел к гостинице, разглядывая чужой город, чужих людей... Больше он не звонил Селину и не думал о нем.

Оставшиеся дни до отлета в Москву пролетели мгновенно. На аэродром Марков ехал, стараясь отъединиться от болтовни туристов-попутчиков, больше молчал и с печалью осознавал, что возвращение похоже на погружение в тягостную и тяжелую трясиину.

На аэродроме увидел Валерия Есипова. Впрочем, встречи с ним уже не удивился. Тот тоже не скрывался, а сначала поглядывал настырно издали, медленно сокращая расстояние между ними. Лицо у Есипова было премерзкое. Он пучил белесые выцветшие глаза, кривил пухлые губы, как будто собирался плюнуть.

– Уж и не надеялся с вами встретиться, – изрек Есипов мрачно, когда оказался рядом с Вадимом Андреевичем. – Думал, оплатите родине черной неблагодарностью, броситесь улепетывать. – Он пожевал губами. – Хотя нет, такие не способны. Значит, в объятия державы?.. Объятия-то, помните, тяжелые бывают. «Души прекрасные порывы», – процитировал он смачно. – У вас никаких предчувствий нет?

– Есть предчувствие, что до конца жизни не расстанусь с вами, – сказал с кривой улыбкой Вадим Андреевич.

– Да вы – провидец, батенька, – Есипов заскучал и стал оглядываться. – Пойду-ка шнапсу приму. Путь не близкий.

Он исчез. Снова Вадим Андреевич увидел его уже в самолете. Кося по-рыбьи закоченными глазами, Есипов сосредоточенно добрел до кресла и долго уминался в него, шумно сопя и распространяя вокруг тяжелое спиртовое дыхание. Устроившись, он еще долго сопел, успокаиваясь. Потом совсем затих, но скоро тишина прервалась вопросом:

– Что же вы такую подлянку сотворили?

Вадим Андреевич молчал, не понимая, чего хочет Есипов.

– О чем это вы? – поинтересовался он.

– А вы не знаете?

– Что я должен знать?

– Про нашего общего друга.

Вадим Андреевич тут же подумал о Селине и онемел, не зная, что и думать.

– Помер... а вы его прикончили.

– Что это значит?

– Руки на себя наложил, после вашей встречи. Придурок. Уселся к батарее головой, да руками за разобранную электробритву схватился. Каково?.. Ваша подлянка. Про совесть любите поговорить. Как она там у вас?

Вадим Андреевич замер, в душе тяжело защемило. Он тут же вспомнил всклокоченные крашенные волосы Селина, парфюмерную чистоту кожи и глаза в мелкой сеточке дряблых морщин. Потом накатила боль, которая, конечно, предшествовала смерти. Боль настигла Александра Селина и смяла, как тонкий лист бумаги. В ней скопилась тоска по детству, ужас войны, тупая лихорадка послевоенных дней с надеждами, которые отмирали, словно листва осенью. Эта боль неотступно мучила и Дмитрия Есипова.

– Вы знаете, Валерий Дмитриевич, – сказал Марков, – что ваш отец тоже покончил с собой?

– Конечно, пил как лошадь.

– Нет, он и способ придумал самоубийства, чтобы выглядело, как естественная смерть.

– С какой стати, – небрежно усмехнулся Есипов, – замглавного в клинике, денег хватало на все?

– Его многое терзало. Что победу, за которую его одноклассники полегли, а он здоровье отдал, подонки сапожищами затоптали да блевотиной заляпали, а его заставили мозги калечить тем, кто смириться не мог. Вот и он не смирился.

– Что-то вокруг вас одни покойники? Не вы ли и папаше на мозги капали как дружок? – с пьяным безумием глаза Есипова уперлись в Вадима Андреевича.

– Ошибаетесь, Валера, – прошипел в эти глаза Марков, – это от вас смердит трупами. Народ и партия – едимы. Трупоеды проклятые.

– Эка, разговорился, – изумленно отстранился Есипов. – Не забыли, в какую степь летим? На восток. Там за каждое слово – в рыло. Да вы собственное дерьмо есть будете. Уже нары вам греют. Ковалю вашего с работы точно вышибут, и тетку его. Вообразили, суки, что им все можно. Это мне все можно.

Есипов стал материться, шлепая мокрыми от обильной слюны губами. Он задыхался.

– Ничего вы не можете, – тихо сказал Вадим Андреевич.

Есипов тяжело со свистом дышал, он закрывал глаза и сидел молча, ожидая, когда успокоится дыхание.

– Да, Вадим Андреевич, вижу, – проговорил медленно Есипов, – вы тут совсем от реальности оторвались. Наша контора работает, как часы. Доложу по начальству, проглотит дырочка бумажку – и пойдут тикать часики, крутить колесики, и вы, как по конвейеру.

– Умру я скоро, – негромко сказал Вадим Андреевич, глядя в иллюминатор на медленно текущую долину облаков, сияющих в голубом свете луны.

– Больны что ли? – поинтересовался Есипов.

– Нет, чувствую.

– А не врете? – Есипов придвинулся к Вадиму Андреевичу, внимательно вглядываясь в лицо. – Видок у вас, конечно, тот еще, но и поплоше живут. А это как у вас? Печень тянет или за ребрами болит?

– Всего-навсего предчувствие.

– Так бывает?

– Бывает, на фронте бывало. Самый известный случай – Иисус. Он точно знал приближение смерти.

– Опять вы за свое. – Есипов отодвинулся на спинку кресла, помял губами. – Занятный разговорец был. Но лучше, знаете, на эту тему балакать по дороге в Париж, а не наоборот. У нас сейчас – холод, гололед. – Есипов мрачно выругался.

– О-ох, – со стоном выдохнул Есипов. – Ну и тоску нагнали. Одни покойники у вас. Вадим Андреевич засмеялся.

– А знаете, почему при социализме смерти как бы не существует? – с улыбкой спросил Вадим Андреевич.

– Чтоб настроение не портить.

– Чтобы остатки социализма не пропили и не разворовали, – смеясь, сказал Вадим Андреевич. – По ленинизму ведь как? Там – яма вонючая: ни выпить, ни закусить, ни бабу обхватить. Одна гниль. До светлого будущего не дожить – обманули. Так хватай, тащи, жри в три горла!

– Под кайфом подохнуть веселее, – заулыбался Есипов и потянулся. – В нашем доме в прошлом году пенсионер один загнулся на бабе. Смеху было.

– Во! Наяривай, тащи все, что под руку угодило.

– Правда, разворуют.

– Поэтому цензоры и вымарывают мысль о смерти. Не дай Бог, вспомнят, задумаются, ужаснутся.

Тут Есипов захекал мелким смешком.

– Да, Вадим Андреевич, – сказал он. – Советую и вам задуматься. Знаете, сколько стоит родине такой типчик, как Селин? Ого-го! А вы своей болтовней довели его до порчи государственного имущества. Селин теперь годится только на корм червям. И то – иностранного подданства. Так готовьтесь отвечать по всей строгости закона. Причинение ущерба государственности в особо крупных размерах. Помрете вы или нет, это еще не известно. Может, дотянете до суда... А теперь мне отдохнуть надо.

Голова Есипова отодвинулась назад, веки опустились, и он засопел, приоткрыв рот. В иллюминаторе, немного впереди, в лунном свете серебрилась узкая плоскость крыла. Словно живое, крыло трепетало в невидимом мощном потоке воздуха. Ниже бесконечно тянулась белая равнина облачности с кружевными ложбинами, холмами. Вдали Марков разглядел темный крестик тени от самолета. Крестик скользил по неровной поверхности и, казалось, вот-вот распадется и исчезнет, растворится в бескрайней пелене. Вадим Андреевич прильнул к иллюминатору. Свет в салоне был приглушен и не мешал мерцанию звезд. Их было бесконечно много, свет звезд одолевал тьму, окутывал глаза, лицо, лоб. Почудилось, что они окружили голову, и их мягкий свет тонкими лучами входит в затылок.

Вадим Андреевич вздрогнул, с удивлением оглянулся и понял, что обманулся: сзади были кресла, размягченные лица спящих пассажиров. «Но ведь что-то коснулось затылка?», – подумал Вадим Андреевич. Он закрыл глаза, пытаясь понять и удержать то легкое дуновение счастья и радости, просиявшие на него. Такое ликование должен испытывать любой человек, где бы и когда бы он ни жил. В этом Вадим Андреевич был уверен. Тысячи лет назад было такое небо, те же бескрайние моря уходили от берегов в бездонное небо, те же потоки воздуха омывали долины, наполненные неуловимым мерцанием света звезд. Нет ни времени, ни пространства между сотнями поколений людей. В эту минуту, под этими звездами можно коснуться пальцами человека, которого зовут Христос. Он сидит на холме и смотрит в черное небо, в котором живо плещет звездный свет. Вокруг мерно течет океан воздуха, в нем смешалось дыхание миллионов травинки, цветов, затихшие голоса и движения людей. Канул на дно черный песок ненависти. Нет злобы тесных и раздраженных улочек города, тяжелые глыбы городских построек кажутся песчинками, которые тонут в темной пене листьев деревьев.

Вздых ветра смывает тяжесть, тьма вспыхивает сиянием звезд, и становится понятна мысль. Я пришел к вам, такой же, как вы. Там, во тьме, осталось мое имя. Мы вместе, вечно.

Вадим Андреевич вздрогнул, холод в груди тихо растаял. Он открыл глаза, оглядел ряды кресел, сонно поникшие головы с растрепанными волосами. Вадим Андреевич пальцами ощутил тяжесть и ненужность предметов, окружавших его. Тут же нагрянула ненависть и возбуждение предстоящей толчеи аэропорта. Он будто увидел скованные и напряженные лица гэбэшников, которые, словно тараканы, невидимо заполняют все здание аэровокзала. «Нет, – подумал он, вспомнив слова Дмитрия Есипова, – достойнее не жить»...

На рассвете мутного холодного дня, нырнув из озаренного ранним солнцем неба, самолет прорвал толщу облаков, всей махиной рухнул на посадочную полосу, с лихорадочной дрожью сбросил скорость и подкатил к аэровокзалу. Толпа измученных бессонной ночью пассажиров набилась в тесное душное помещение. Навстречу пялились бледные лица.

Вадим Андреевич почувствовал охватившее горло и грудь удушье, лица исчезли. Ноги обессилели, и он мягко и расслабленно повалился на пол. Сзади, изумленно раскрыв глаза, онемело стоял побелевший от ужаса Валерий Есипов...

Еще в самом легкомысленном детстве случались намеки, наплывы неведомого. Они лишь слегка трогали детское воображение. Торопливое чутье ребенка не способно было сопереживать. Но цепкая память не плошала: оставляла про запас, на потом.

Оставила консервную банку и двух стариков. Яркое сентябрьское утро, оскорбительно громко гремит банка по тротуару, и он, первоклашка, поспешает за ней, пиная ботинками по бокам...

Старики стояли в пустоте старого кривого московского переулочка, похожие друг на друга, как близнецы: исхудавшие, с клоками седых волос, в обтрепанных мятых стариковских брюках, клетчатых пиджаках. Истина была в притяжении их взглядов, невозможности разойтись, отвернуться, в том, как рука одного взвилась – и высоко в небо взорвался звук пощечины. Елисей обмер, банка ускользнула в сторону, затихла, чтобы навсегда врезаться в память вместе с золотой пылью на сером асфальте, фиолетово-голубым осенним небом, серыми стенами домов, бесплотными фигурами стариков, которые не смогли разминуться в миллионном городе, в бесчисленной череде дней. Как два полярных заряда, они стремились навстречу, чтобы тихим утром разломилось небо, чтобы над его детской головой пронеслась буря, о которой он еще ничего не ведал... Рассеялась оторопь, охватившая его и двух стариков. Он помчался дальше в школу, унося в себе молекулу потрясения, которая будет расти, тревожить.

Позднее, через года ему уже не составило особых трудов сопоставить несчастных стариков с эпохой, когда жертвы возвращались в жизнь, чтобы выплеснуть многолетнюю ненависть на своих палачей. Это было время, когда снимали со стен тесных комнатенок портреты генералиссимуса, но все еще говорили шепотом...

Под утро сон стал тягучим словно густая тряси́на. Слова рвались, путались, превращаясь в бред. ... Я пришел. Мать звали Мария, отца – Иван. Имя мне дали Елисей. Как брошенное в землю зерно, оно росло вместе со мной. От детского Лиса, что еще звучит во мне нежным звуком материнского голоса, до многоликого, странного существа: тихого или грубого, истертого, тусклого, как старый пятак, или дорогого, как последняя надежда. Наступит день – имя мое отделится от меня и придет иное... Танец, почти полет, плавный, воздушный, с девушкой, незнакомой, но удивительно близкой, понятной и желанной. Потом появляется жена с каменной поступью командора. «Теперь все! – говорит Елисей девушке. – Это моя жена...» Тут вместо жены он вдруг узнает маму. «Где же ты была все это долгое время?» – вырвалось у него. «Я сидела за шкафом», – сказала она. Затем последовало безумное веселье, неистовый смех... Очнулся Елисей в слезах. С трудом пытался уловить логику сна...

Илья Ефимович стоял у книжной полки, его пальцы двигались по темным корешкам.

– Но ведь вы живы? – спросил Елисей.

– Жив, еще как, – он оглянулся, пожал плечами и неопределенно повел в воздухе рукой. – Законы искусства... требуют.

– А Париж?

– А Вадим Марков?

– Всю тяжесть событий на себя взял. Его тоже не было, – усмехнулся Миколюта.

– Что же было?

– Что-то, конечно, было, – сказал Илья Ефимович, ехидно прищуриваясь. – Многотиражка была, редактор. Даже разгон редакции состоялся. Только по другому поводу. Шел однажды секретарь парткома по коридорчику мимо редакции да взбрело ему в голову зайти, обозреть хозяйским глазом пост идеологической работы. Зашел. А глаз у секретарей орлиный. Как в ворохе бумаг узрел? В общем, выхватил из кучи газет брошюрку Солженицына, тамиздат... Идеологическая диверсия. В результате все мы вылетели из редакции... Был, конечно, Есипов, его изобретенное самоубийство, заветная папка, подельник мой парижский. Как это все соединилось? Самому трудно объяснить. Было желание встретиться с Селиным. Наверное, просто тоска по молодости. Пожалуй, идея турпоездки в Париж, нахальство все – возникло из ощущения гнили, партийного кретинизма. Всеобщая казарма. С одной стороны, запреты, болтовня аскетически-романтическая с трибуны – и гнилое нутро, с другой стороны, водка, анекдоты, собачьи свадьбы на кожаных диванах под портретом генсека.

– И Селин, кажется, жив? – спросил Елисей.

– Конечно. Как-то открытку к Новому году прислал. Написал, что пальто может выслать, размером интересовался. Я отказался.

– Противно?

– У меня все есть. Ничего не нужно. Я свободен. Это главное. – Он задумался, потом усмехнулся и добавил: – Если бы вы знали, сколько вокруг этой истории намешано. Сам удивляюсь. Записал где-то через полгода после того, как редакцию многотиражки расшуровали.

Нелепая фраза: «Я сидела за шкафом», – навязчиво возникла в памяти Елисея. Хотя, мама всегда присутствовала во всем и везде, оставаясь в тени, ненавязчиво хлопотала, прикрывала, защищая, беспокоясь. Незадолго перед смертью, наверное, предчувствуя неотвратимое, она ни словом не обмолвилась, а стала хлопотать по бесконечным домашним делам. Стирала полотенца в ванной, подметала, сидя на стуле, по несколько раз на кухне. Лишь однажды обронила едва слышно, как бы про себя: «Как тебе трудно будет». Она смотрела в окно на поздний июньский закат. Солнце все никак не могло потеряться в деревьях, слабело, тускнело – и все мерцало вспышками в листве. Стрижи сумасшедшие чертили небо, рассекая скрипучими трелями бормотание городского вечера.

Елисей тогда промолчал, пытаясь, наверное, скрыть понимание смысла ее слов, но тут же накатил волна тоски, жалости.

«Но почему произошло это несовместимое превращение жены в маму?» – попытался понять Елисей. Невозможно представить более несовпадающих людей. Наверное, это уже он сам волевым усилием рванулся к спасительнице маме, которая одной своей жизнью могла искупить всю глупость знакомых ему женщин. Как ни смешно, думал он, а скорее грустно, но больше всего подходит жене роль надзирательницы, которая должна зорко блюсти его, чтобы, тьфу-тьфу, не загляделся на сторону. Уж она-то нутром чует, как томится его душа от ее твердой поступи командора. От того и явилась сразу, едва он окунулся в пригрезившийся полет, освобождение от всего. И ему заодно предупреждение, что сладкие сны недолго длятся – за ними следует чуть ли не наказание смертное, что-нибудь вроде ржавых гвоздей по рукам и ногам, чтобы неповадно было.

В памяти выплыл смешной преподаватель научного коммунизма Яков Ильич, толстенький еврей с добрейшей улыбкой на круглом лице, плешивый, с хитринкой в рыжих глазах. На семинарских занятиях говорил – иногда с ноткой отчаянья – что хочет научить студентов самостоятельно мыслить, просил дать примеры из жизни, которые подтвердили бы всегда верные и бессмертные выводы классиков марксизма. А когда студенты сбивались на бредовый язык учебников, рассказывал об уборщице, которая мыла полы на их кафедре. «Як-ыч, Як-ыч», – так величала она преподавателя. Она благоволила к нему, рассказывала о тягостной, как она говорила, жизни деревенских родственников, люто ненавидела студентов, курящих, сорящих, пачкающих, гадающих в туалетах. «Как лошади, – воздевая руки, закатывая глаза, играл её гнев Яков Ильич, – кучи кладут, как лошади...» Елисей улыбнулся воспоминаниям. Наверное, давно уже в Израиле. Нежится на берегах Средиземного моря, под вечным небом Иудеи. Иногда, может быть, заходится истерическим смехом, вспомнив родину, но никто его истерике не удивляется. Там много таких, кого тревожит прошлое. Яков Ильич тоже понял, что никуда не уплыть от своей жизни.

Илья Ефимович ушел собираться к себе, а Елисей с дочкой вышел на безлюдную платформу. Далеко позади остался шлюз с маленькими корабликами, на которых хотелось уплыть подальше. Аля торопилась вперед, говорила о встрече с подружкой-соседкой, и постепенно уходило дорожное оцепенение, надвигались мысли о делах.

Увиденный на асфальте дождевой червяк вызвал у Али всплеск восторгов. Они выбили Елисея из колеи привычных дум.

На повороте к трамвайной линии они нагнали старушку в застиранной синей юбке и жакете с блеклым белым узором на синем фоне. Седенькие волосы были стянуты в пучок на затылке, сквозь жидкие пряди проглядывала бледная кожа. Она неуверенно оглядывалась.

– Будьте так любезны, – заговорила она. – Мне объясняли, здесь автобус где-то до Пресни? Не подскажите?

Елисей показал, как пройти, и двинулся дальше, потянув дочку за руку.

– Вы не за гэкачэпэ? – спросила взволнованно старушка.

– Сейчас все за свободу, – усмехнулся Елисей и вспомнил довольных пенсионеров в электричке.

– Ошибаетесь, – с тревогой выпалила старушка. – Вшивое племя довольно, в восторге. Так зову их. – Ее лицо покраснело от возбуждения, но глубоко запавшие глаза смотрели тихо и скорбно: – Это как тиф: люди мрут, а вши жиреют, множатся, полчищами ползут. Они у меня всех сожрали: мужа, дочку... А мне справочку, мол, реабилитирована, и покойников реабилитировали, – она нервно улыбнулась. – Вот, к Белому дому собралась... Или отстоим, или пусть сожрут сейчас, чтобы не видеть. Нагляделась, как по живым людям вши ползут.

Елисей с дочкой свернул к дому, краем глаза заметил, как старушка уже издали оглянулась на них, потом заговорила с полной женщиной с двумя увесистыми кошелками. Мелькнула мысль о том, какими красками на холсте передать волнение старушки, унижение безвинной смертью, бесконечный шорох сытого воспроизводства серой пелены вшей. Он засмеялся, представив картину, где с кретинской скрупулезностью изображены старушка с черным лицом, покойник в грязных лохмотьях на нарах. Он только что предсмертно содрогнулся, распался беззубый рот и – чудится – зашевелилась серая кисея из тьмы насекомых. «Дураки будут считать вшей, – подумал весело Елисей, – парторг задолдонит о бесчисленных жертвах царизма. А чудом выживший зэк плюнет, скажет, что красок жалко».

Для него достаточно клочка мрака, чтобы похолодеть от ужаса. Может, прав Малевич со своим квадратом? Не надо портить краски. Взять почернее да погуще и пропитать холст... Умный человек взглянет – и заплачет безутешно. Зачем разжевывать до сладковатой кисельной кашицы? Чтобы всякий, помусолив, радовался сладенькому, понятному? Сокровенное все

равно побоку! Лучше наплевать на толпу, бестолковых, захваченных своими мыслями. Писать скупое, самое главное... Подойдет он, тот самый, единственный – и все поймет, и ужаснется...

Невидимая золотая пыльца лежала на мелькавших за окном перелесках, дачных хибарках, на одежде пассажиров, на дряблых лицах оживленных пенсионеров, на высветленных летним солнцем кудряшках дочки.

В сентябре в изостудии, где Елисей хлопотал уже много лет, соберутся мальчики и девочки, и он должен постараться открыть им секрет соединения золота с небесной синью – главная тема осени. Как бы потом объяснить им, подумал он, что каждодневно в эти сверкающие краски люди подмешивают болотный смрад злобы, зависти, подлости – это главная тема жизни. А если не объяснить?.. Рукой даже маленького художника, едва научившегося разводить краски, движет его наивная душа. Она впитывает добро и зло, тепло и холод, свет и тьму, неведомым образом соединяет все это в некий облик мира – и выплескивает на бумагу, холст. Какой же страшный мир можно увидеть на холстах иного художника! И только потому, что в нежном возрасте души ребенка некому было открыть тайну, согласно которой только свет может рассеять тьму, только тепло может согреть и только добро способно осветить жизнь смыслом.

В любой картине можно определить степень познания художником этой тайны.

Елисей коснулся пальцами светлых волос Али. Даже такая кроха, как она, нетвердыми мазками кисти обозначает таинственную радугу жизни. Недавно у нее начался период наполненных светом окон. В ее рисунках многократно повторяются деревенский дом с единственным окном, дерево, облако, птицы. Обязательно ярко-желтым цветом намалюет просвет окна. Это окно становится центром истины рисунка. Потом Елисей догадался, разглядывая этот настойчивый мотив, что Аля однажды, выскочив поздним вечером в черноту деревенской августовской ночи, была потрясена теплом маленького окошка, солнечным огоньком греющим душу. Не раз он ловил себя на радости, которая вспыхивала в груди, когда, продрогнув в гуще ночи, весь пронизанный касанием влажного туманного воздуха, из неясного шелеста сырой листвы вдруг по тропинке выходишь к сияющему окну дома, и попадаешь в волшебное золотое облако, в котором видна утоптанная земля, тени листьев, травы.

Безотчетно Аля выбрала тепло золотого оконца и сочла его главным цветом ночи и дня. Наверное, надо уметь выбирать из всей мешанины красок самую главную. Даже сидя в этом вагоне, едущем во взбаламученную Москву, важно не обмануться. Главное сейчас – цветущая синева августовского неба и золотая пыльца на всем вокруг и на легких кудряшках дочери.

Дома жена сказала, что звонил Фердинанд Константинович, очень хотел с ним поговорить. Добавила, что голос его звучал как-то странно.

Ее слова больно царапнули сердце. Звонил он из реанимации. Пять дней назад он сообщил Елисею об этом необыкновенно бодрым голосом. Тогда уже тревога запала в душу, а сейчас усилилась. Что он хотел сказать? Елисей представил, как он медленно говорил, мучимый тяжелой одышкой, с лицом, усыпанным градом пота. Последнее время он был очень плох. И невозможно было ничего узнать. Позвонить мог только Фердинанд. Каким чудом ему удалось заполучить в больнице телефон?

За окном небо затянули тучи. Серой пеленой они ложились все ниже. Все было плохо. Только Аля звонко хохотала, играя с куклами, которые она не видела с пятницы.

Жена капризничала. В ее положении это было вполне объяснимо. На днях она вышла в декретный отпуск. Елисею еще памятли были ее паника и ужас в ожидании неизвестности, похожей на катастрофу, в результате которой должен был родиться их первый ребенок. С изумлением всегда вспоминал, что врачи именуют роды омоложением женского организма. Так

называют они бесконечные осложнения, болезни, а порой и смерть, которые сопровождают взрыв плоти, с кровью, воплями и ужасом.

До сих пор Елисей не мог понять, как они решились на второго ребенка. Лариса говорила, что хочет ребенка, но он-то знал, что ее слова являются лишь сотой, тысячной долей желаний, сомнений, опасений и тайных мыслей, которые за всю жизнь не разберешь. Лучший, конечно, способ решить такой вопрос – закрыть глаза и ухнуться, как в воду. А потом – куда течением вынесет... Вот и бьет, и несет, захлестывает волной, заливая уши, нос, рот. Того и гляди – на дно потянет.

– Сегодня три раза валерианку пила, – сказала Лариса, – беспокоюсь. Когда жить тихо будем? Говорят, танки в Москве. Что будет?

– Уладится, – как можно увереннее проговорил Елисей и подумал, что началось бы сейчас, если бы он собрался идти туда, к Белому дому.

За обедом Лариса немного успокоилась. Она неторопливо накрывала на стол, привычно наполняла тарелки, пыталась с ложки кормить балующуюся Алю. Аля болтала о соседских кроликах, которые недавно родились и были похожи на забавные живые игрушки. Слушая дочку, Лариса повеселела.

Елисею надо было уходить. Он наскоро доел и убежал. На лестнице вспомнил о звонке Фердинанда и опять накатило тоскливое предчувствие беды.

Познакомился с ним несколько лет назад. Фердинанд случайно забрел в помещение студии. Елисей спросил его, не хочет ли он записать в студию своих детей. Фердинанд громко засмеялся, подрагивая пухлыми щеками и объемистым телом. Был он высоким, тучным и громким.

– Не имею счастья продлиться в потомстве, – вычурно сказал он. – Зашел, знаете, прогуливаясь. Рисунки, вот, смотрю. Дети не умеют внешнего сходства передать, а посему нередко существо подмечают, главное. Они – символисты. Ну, конечно, если не бездарные повторялки и ябеды.

Он снова громко засмеялся, привлекая внимание всех, кто был в коридоре. Он не замечал чужих взглядов, словно стоял один.

– Не курите? – спросил он.

– Нет.

– И правильно. Давайте, на лестнице подышим.

Он подхватил Елисея под руку и потащил к лестнице. Его бесцеремонность только сместила.

– Я литератор, – сказал он, раскурив сигарету. – У нас – слава капээсэс – все раз и навсегда четко определено. Есть известные писатели – это из начальства, просто писатели – состоящие в союзе писателей, а литераторы – нечто презируемое, из неприкасаемых, для которых сотворен некий профком. Чудо оргвосторга. Профком литераторов! Как профком дворников, слесарей-сантехников. Вы о таком слышали?

Елисей отрицательно покачал головой.

– Хорошо, повезло... – он затаился, выдохнул дым. – Я уж порядком не пишу. Знаете, сядешь за стол – соберешься с мыслями. Да возьмешь томик Чехова... а потом бросаю все и иду гулять. Так что, если бы не инфаркт мой, я бы с голоду умер. – Он чмокнул сигарету, его рот открылся и закашлял смехом, раздувая полные щеки, катая крупный язык за прокуренными зубами. – А детишкам безразлично: были или нет репины, саврасовы, рубенсы, импрессионисты. И пусть. Они малюют себе. Вот чем эта мазня хороша?!

Он ткнул сигаретой в проем двери. Напротив, на стене в коридоре висел рисунок, где во весь лист ярко-красным цветом была нарисована божья коровка, так же крупно выведены несколько черных пятен на боку жучка. Сверху пририсованы два голубых облака, видимо, крылья.

– Насекомое, мелюзга. Их миллионы, миллионы лет существуют. А нашлась малютка, – он придвинулся, вчитываясь, – Лена, пять с половиной лет. Узрела чудо яркое и поняла: это главное, это и есть диво дивное жизни... А я свое диво, видать, просмотрел. У других, вижу, и получше встречается.. Махну рукой и иду гулять.

Елисею хорошо запомнилось это его «гулять». Действительно, он потом часто встречал Фердинанда в окрестных дворах и переулках. Иногда они прогуливались вдвоем, если было время. Однажды Фердинанд рассказал, на первый взгляд, романтическую историю о том, как он с приятелем ходил на войну.

Было им по тринадцать лет в сорок первом. Когда гнали под Москву народное ополчение, Фердинанд увязался за своим отцом. С полдороги начальство завернуло их домой. Все люди, которые ушли с его отцом, сгинули до единого где-то под Вязьмой. Только они, двое, остались в живых.

Елисей не спросил Фердинанда тогда о том, что стало с его приятелем и с ним самим, но почти при каждой встрече, глядя на Фердинанда Константиновича, тучного, жаркого, с распахнутым даже в холод воротом, думал, что вот человек, которому одному из тысяч легших в подмосковную глину дарованы годы и годы жизни. Почему?..

Елисей вышел из метро. К площади Восстания довольно буднично катила вереница машин. Непривычным было только то, что редкий поток людей тянулся в проулок за высотку, в сторону Белого дома. В размеренном шествии чувствовалась некая скованность, которая бывает обычно у людей, не умеющих актерствовать, когда они ощущают на себе постороннее внимание, как бы направленный на них объектив. Чуть громче речь, немного напоказ жесты, неловкость при пересечении взглядов. Елисея тоже охватила эта пелена неловкости человека, которому надо исполнять непривычную роль. Может быть, только Фердинанда не смутило бы это шествие. Он любил рассказывать о том, что Красная Пресня – его родина. Большая часть его жизни прошла тут. Он знает здесь не только каждый угол, дом, задворки, но он еще и как бы летописец своих одногодков, которые, спиваясь, совершали незатейливый, мрачный жизненный путь от «Зари коммунизма», «Памяти революции» до «Светлого пути». Так именовались близлежащие заводи и фабрички.

Будь Фердинанд здесь, он опять выбился бы из общей колеи. Он бы сейчас также громко говорил, сжимая на отлете сигарету, глядя чуть вверх, над головами, в пасмурное небо.

Елисея снова замутило тревожное желание проникнуть, преодолеть пространство до здания клиники, откуда пытался дозвониться Фердинанд, заглянуть в палату, узнать, что с ним, что он хотел сказать. Елисею нужно было знать, что будет с ними: с Фердинандом, с этими людьми, которые идут к Белому дому, с солдатами, которых нагнали в город в приземистых, как жабы, танках, бэтэрах.

В маленьком скверике Елисей увидел стоящего милиционера с брикетом мороженого. Милиционер откусил крупный кусок, его губы смачно втянули таящую пенку. В глазах его плавало полное безразличие, пальцами свободной руки он теребил листочки жидкого кустарника и, видно, не замечал, как сыплются на дорожку скрученные зеленые лохмотья.

Елисей толкнул дверь нужной комнаты. За одним из столов, в углу напротив, сидел еще один непомерно толстый человек, которого он знал очень давно. Еще в те времена, когда тот был стройным, худым, по-спортивному быстрым и легким. Тогда его звали Валеркой Есиповым, он учился на сценарном факультете, играл в баскетбол, был другом Елисея. Сейчас это конусообразное тело, без шеи, измученное полнотой лицо с рыжими подглазьями, плешь с редкими волосами.

Увидев Елисея, Есипов грузно навалился на стол, оттолкнулся руками, встал, подхватил суковатую полированную палку и двинулся навстречу, тяжело опираясь на палку. Наверное, сделал это специально, потому что знал о недобром отношении Елисея к нему и хотел пога-

сильнейшую неприязнь видом своей тяжести и беспомощности. Елисей заторопился навстречу, быстро пробрался меж столами, чтобы остановить неуклюжее движение Есипова. Но тот продолжал переставлять тумбообразные ноги.

– Со свиданьем, мы сегодня в положении, – хихикнул он. – Зря торопишься. Спустимся в ресторан, там и поговорим.

Он стал протискиваться дальше среди столов к двери, а Елисей поплелся за ним. Если бы не Фердинанд, то Елисей смело бы сказал, что все чрезмерно толстые люди вызывают у него неприязнь из-за своей склонности к порочности. Чревоугодие – так непременно. Но сравнивая Фердинанда и Валерку Есипова он вынужден был признать, что и чревоугодие, и излишняя толщина никак не связаны со склонностью к пороку. Насколько к Фердинанду Елисей испытывал симпатию, и сама толща его вся была пронизана добродушием, сердечностью, настолько же Есипов вызывал нутряную неприязнь, как будто взгляд его, каждая частица непомерного тела источали тяжесть и смрад лжи.

Пока они брели по коридору Елисей пытался перебрать на память своих знакомых толстяков. Набиралось не так уж и много, поэтому не стал обобщать и напрямую связывать злодейство с толщиной брюха. Но все-таки бегемотоподобный зад Есипова, колыхавшийся впереди, вызывал у него только раздражение.

На лифте они спустились на два этажа ниже, доползли до ресторана. Есипов уверенно завернул в затемненный угол и повалился в широкое кресло, видимо, специально для него стоящее у стены, за крайним столиком. Он махнул официанту, и его лицо радостно оживилось.

– Сейчас перекусим немного, – нос его потянулся в сторону кухни, откуда сочились раздражающие аппетитные запахи. Он крикнул оживленно и только спустя секунды глянул в упор на Елисея, его глубоко вдавленные глаза сузились и замерли, словно выискивая отклик. – Все не можешь забыть? Может, рассудить – так глупость детская? Уже двадцать лет прошло! – Он закатил глаза и покачал головой. – Неужели это все с нами было? – Снова вонзился глазами в Елисея. – Не пробовал итоги подбивать?

– Зачем я тебе нужен? – Это были первые слова, которые Елисей сказал ему за эти самые двадцать лет.

– Тебе начальство разве не доложило?

– Говорили, а все-таки?..

– Глупости все, мелочи. – Он еще сильнее надвинулся на стол. – А, может, покаяться хочу, грехи замолить, а?..

– Почему я? У тебя исповедников достаточно было.

– Издеваешься... А ты не отталкивай, Елисеюшка. Страшно мне!

Только сейчас Елисей заметил, что лицо у него нешуточно бледное, на лбу и под носом высыпали капли пота.

– Прямо здесь? – спросил Елисей, удивленный его видом и просьбой.

– А где? В конторе или в «Жигулях» моих? В троллейбусе... где? В церковь переться, так стыдно будет, да и передумаю по дороге. Они ведь такие же чиновники, такая же контора... шоу-бизнес, – с присвистом прошипел он. – Там мои грехи не замолить.

– Почему я? – изумление Елисея не проходило.

– Ты! – горячо выпалил он, брызгая слюной. – Именно ты... Я не случайно, я думал. На тебе ведь карьеру я начал. Ну, понимаешь? – Он глянул заискивающе, ждал.

Елисей прекрасно понимал, еще бы ему не понять. Он хорошо помнил, как таскали его по начальству, мытарили комсомольские юноши, а потом выставили со второго курса без всякой надежды, без будущего, с клеймом прокаженного. И только он один знал, кто такой Валерий Есипов и чем ему обязан.

– Я сейчас спать не могу. Мне страшно, ужас!

У него в горле забулькало, зашипело, он всхлипнул. Лицо дрогнуло. Он закрыл глаза рукой и затих.

Подошел официант, стал расставлять закуски. Есипов не двигался. Когда официант отошел, Валерка открыл лицо, схватил вилку и, низко наклонив голову, стал есть, сопя и причмокивая. Елисей тоже принялся жевать, мучимый раздражением от того, что Есипов всколыхнул всю давнюю муть, ненужную, казалось, позабытую, сейчас даже смешную.

Никогда он ни о чем не жалел. Ничего иного ему не требовалось. Единственное, что хотелось понять, зачем о н и это делали, для чего. Во имя чего суетились, предавали, продавали?

О том, что Есипов – главный герой его злоключений, он лишь догадывался. Никаких явных фактов у него не было, и не могло быть. Просто одно за другим копилось, тяготило, как гири на весах, пока не сложилось все и не озарила уверенность. Каждая мелочь сама по себе почти ничего не значила. Хотя один эпизод был весьма отвратителен.

Однажды Валерка затянул его посмотреть матч на первенство вузов по баскетболу. Не помнилось уже, с кем играли. Игра шла обычно: стука мяча, крики немногочисленных болельщиков, потные, разгоряченные игроки. Потом гости вырвались вперед, и разрыв стал расти. Почти все очки набирал длинный мосластый парень с сонным выражением на лице, как будто он только что оторвал от подушки всклокоченную с рыжиной голову – открыл глаза и очень удивился свету. Вид-то сонный, но двигался он стремительно, кидал по кольцу почти без промаха.

Переломилось все в одно мгновение, которое для Елисея как бы растянулось в несколько кадров замедленного кино. Всклокоченный парень получил пас, метнулся, ускоряясь, к кольцу. Сбоку, словно прилип к нему, Валерка, они сделали в такт три шага – и ноги парня схлестнулись. Он врвался в стойку щита и свалился на пол без движения. Засуетились игроки, тренер, замелькал белый халат. Когда парня пронесли на носилках, с которых свешивались его ноги, Елисей увидел кровь на голове, левая рука неудобно лежала вдоль тела и казалась чужой.

Мимо прошел с довольным видом Валерка и подмигнул: – Теперь мы их сделаем.

Он сказал это бестрепетно, словно ничего не произошло. Чуть позже память вытолкнула эти почти забытые слова, когда Есипов похвалялся знанием разных приемчиков устранения с площадки соперников. Надо было, рассказывал он, пристроиться сбоку к сопернику, сделать два-три шага, ставя ногу в ногу, а потом слегка коленом подсечь ногу соседа – и он свалится, как бревно... Елисей сообразил, что именно таким приемом Валерка и подкосил рыжего парня, без колебания и сожаления, как будто смахнул с поля шахматную фигуру.

В другой раз, когда дело Елисея шло к развязке, он заметил физиономию Есипова недалеко от кабинета, куда был вызван начальством на разборку. Валерка увидел его, и тут же юркнул в группу студентов, спешивших по коридору. Не было никакой явной причины прятаться. Это была осечка с его стороны.

Дальнейшее раскрытие Валерки происходило заочно, после изгнания Елисея из института. Доходили отрывочные слухи о блатной подоплеке его поступления в институт, об удачном, не по способностям, распределении в знаменитую киностудию. Так и наслаивалось одно на другое, пока не родилась уверенность в его прямой причастности к судьбе Елисея...

Есипов стал жевать медленно, глянул на Елисея, отодвинул опустошенную тарелку.

– У меня все было, – он придвинулся. – Деньги, зрелище, бабы, красавица жена, знаменитость. Я получал все, что желал... Все, все было! Знаешь такое, когда разматываешь предысторию какой-нибудь пакости... Ну, чтобы переиначить, избежать, хотя бы мысленно. И всегда находишь такой момент: слово, движение, ход. С которого, понимаешь, все становится неотвратимо. Говорят, Чернобыля не было бы, если бы оператор на пять секунд раньше нажал какую-то кнопку. До этой точки можно было все изменить, а после – никакими силами. Как на машине нужный поворот проскочишь. Сейчас – и неотвратимо. И все, что было – ничто. Ничто! – прошипел он, губы его тряслись и кривились уголками вниз. – У меня ноги холодеют.

А что остановит? Что удержит? Блистательная жена? К чему блистательность? И не так все... Деньгами не откупишься никакими. Пробовал. Врачи – такие же ханурики. Гребли охапками, все утешали. Один... один!.. нашелся, сказал, что не надо тратить. – У Валерки в горле жалобно пискнуло. – Сказал, подлецов только в соблазн вводить. А может, лучше платить? – Он умоляюще глянул на Елисея. – Хоть утешать будут. За деньги все врут.

– Чем же я могу помочь? – спросил Елисей.

Ему было жалко Есипова. Трясущиеся щеки, короткие толстые пальцы, скребущие по столу. Жалко было того стройного, веселого парня, который утонул в этом толстом пропитанном недугом теле.

– По ночам страшно, – глаза Есипова застыли от воспоминания ночных кошмаров, – особенно. Проснусь посреди ночи – и все, так до утра и маюсь... – Его лицо наконец очнулось, он сказал тихо: – Ты не смейся. Не случайно тебе говорю. Когда вспомнил тебя, впервые стал засыпать спокойно. Вспомню – сразу снимается все.

Он грустно вздохнул, обиженно по-детски насупился. У Елисея не проходило ощущение, что он немного пьян, «под наркозом», как он когда-то в юности говаривал.

– Догадывался, что ты все знаешь. Вычислил. Случайности, они нанизываются. Помнишь, в коридоре столкнулись. А потом, уже после, через несколько лет, в метро пересеклись. О-о, я помню твой взгляд! Ты знал уже тогда. А главное – на выставке в этом, в Доме учителя, твою картину видел. Ты там людей наподобие грибов изобразил. Такие серые, ха-ха, как поганки, в небо тянутся, а ноги такими грибницами в землю корнями уходят. Переплетаются, совокупаются, – прошипел зло Есипов. – Один черный, страшный – это я. – Он покачал головой. – Сходство я уловил. По этому сплетению и понял, что ты все знаешь. Да, мы крепко заплетены. Иной, думаешь, козявка, а копнешь его – и голова кругом пойдет... А один человек на картине, светлый такой, вырвался, помнишь, белым шлейфом в небо поднимается. Это ты... Я сразу понял. Ты еще тогда оторвался от этой слякоти. Может, если бы не я, и тебя бы затащило? А, вместе с нами?..

Он смотрел долго на Елисея.

– Или другое. Ты можешь мне сказать?.. Я запомнил, как твоя картина толкнула меня тогда. И сейчас – вспомню ее, и что-то отпускает внутри.

Елисей, конечно, помнил эту выставку. Единственную, куда удалось пристроить одну картину. И то благодаря чудаку из отборочной комиссии. Застал его в конце рабочего дня, когда все разбежались. Он не хотел смотреть, торопился, но потом глянул. Почти сразу сказал, что картины не пройдут, но он берет одну вывесить «контрабандой», как он выразился. И действительно, она появилась на второй день после открытия и провисела больше недели. Верно и то, что Елисей писал ее, держа в сердце и Валерку, и всю дрянь и пакость, облепившую их, видимые и невидимые нити, которыми повязаны все.

– А если и я не задержусь здесь? – спросил Елисей. – Ты ведь считаешь, что срок мой не мерян?

Есипов откинулся, рот его открылся, щеки, словно жабры у рыбы, раздувались и опадали. Наконец он выдохнул с шумом воздух, застрявший в горле.

– С тобой-то что? – спросил он.

– Ничего.

– А почему так считаешь?

Елисей повел плечом и ничего не сказал.

Есипов расстроено посопел:

– Ты знаешь, тебе верю. Так и есть тогда.

Он задумался, голова его поникла, подбородок уткнулся в ворот рубахи, щеки оплыли вниз.

– Недавно понял слова моей бывшей супруги. Блистательной, знаменитой. Она, когда расхотелись мы, призналась. Жизнь, говорит, как скомканное старое грязное белье, – прошла и никакой радости не оставила, утешения нет. А потом говорит – она в свое время хотела детей, да... – Есипов вяло махнул рукой. – Надежда, говорит, остается, если есть дети, а без них... Сейчас понял ее. Когда конец, хочется надежды, хоть краешком, пальчиком, ребенком своим, а зацепиться за эту... ну, небо, солнце из-под тучки, дождик в осеннем тумане, – Есипов всхлипнул. – Знаешь, на чем поймал себя? В такой момент не баб вспоминаешь, не оргию какую-нибудь а-ля студенты, не самый разудалый оргазм. Вот ведь штука! Свинство-то, все о бабах хлопочем, а получается... – Он изумленно поднял палец. – Проклятая тишина на речке, волны бульканье о лодку, когда дождь об листву. У меня к окну верхушка тополя достает. Знаешь, как ночью дождь лупит по листьям, да еще молния полыхает, гром окатит?.. Если б знать, что потом сын твой или дочка в этой комнате проснется такой же ночью, дождевой воздух окатит ознобом, за окном хлещет, полыхает... – Он закрыл глаза, по щеке скользнула слеза. – Да не будет этого... Ничего не будет. Поселят хмыря какого-нибудь. За взятку, или просто за наглую морду. Будет он водку жрать, окурки в окно кидать, в сортире блевать с пережору. А я?.. Вот, хотел тебе повиниться. Тебе, наверное, больше всех напакостил. Думал, хоть вспомнишь, может, простишь?.. Может, с сердцем у тебя что?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.